

СТРАНИЦА
ВТОРАЯ

Под светом наводчицы луны

10 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА, ПЯТНИЦА

В КОМНАТЕ НАС ТРОЕ. Крайнюю койку у двери занимает Иван Франтишев [1], средняя принадлежит Саше Решетову [2], нашему редакционному поэту, а в конце комнаты, рядом с окошком, выходящим во двор, — мое пристанище.

Письменных столов в комнате всего два, но это никого не огорчает. Саша редко присаживается к столу. По старой привычке он выбормотывает свои стихи, шагая из угла в угол.

Совсем еще недавно, едва загудят сирены воздушной тревоги, все мы опростежь бежали в бомбоубежище.

Путь был неудобный. Сперва надо было пробежать по длинному коридору редакции, затем выскочить на лестницу, затем на Невский, оттуда во двор соседнего дома, где помещается наше бомбоубежище. Днем еще ничего, а вот в темноте приходилось изрядно натерпеться, прежде чем попадешь в заветный подвал. Но удобно или неудобно, все равно бегали.

Теперь уже никто в бомбоубежище не спешит, хотя приказ по штабу остается в силе. Привыкли. Да и номер очередной не хочет ждать отбоя, номер надо делать при любых обстоятельствах.

Кто-то сказал, что вернее всего пристроиться под дверной нишей, благо стены в штабном здании толстые, старинные, петербургской кладки. В случае чего, дескать, все обрушится, а ты уцелеешь.

Сегодня первую вечернюю тревогу объявили около десяти вечера. Мы с Франтишевым сидели за столами. Саша, как обычно, похаживал. С минуту мы слушали завывание сирен, потом переглянулись и остались в комнате.

Мне надо дописывать статью в номер. Франтишев вернулся с Невского пятачка, у него тоже срочный материал. Ну а Саша выхаживает очередную стихину для первой полосы. Лицо у него отсутствующее.

Осенние бомбежки Ленинграда злы и продолжительны. Вдобавок еще артиллерийский обстрел. Встряхивает весь дом, дрожат стены — это бомба. Тоненький свист и одновременно грохот — это фугасный снаряд. Если привык, различить можно.

Тиканье метронома вдруг прерывается залившимся лаем штабных зениток. Противный металлический гул «юнкерса» над головой. Сверлит, сверлит, будто иголку ввинчивает в нерв...

Саша стоит в дверной нише, широко расставив ноги. Лицо у него по-прежнему отсутствующее, а губы шепчут нечто, пока еще бессвязное:

...Дрожат дома-громады,
И жарко облакам...

Четыре тяжелых разрыва. Один за другим, с секундным интервалом. Звенит стекло в оконной раме. И опять металлический гул над головой. Постепенно он слабеет, будто бы удаляется. Похоже, что «юнкерсы» ушли в другой квадрат.

Вернулся к столу. Мне нужно написать о подвиге Михаила Чернобровина, московского комсомольца, двадцатидвухлетнего парня. Мне хочется написать о нем, как о родном брате.

Чернобровин был командиром «КВ». Подбили их под Урицком. Десять долгих часов они вели бой с места, дрались до последнего снаряда. Ночью к ним послали увещавателей. Рекомендовали выйти из машины, сдаться, обещали почетный плен. Радист Николай Пантюшонок, тоже комсомолец, резанул по увещавателям пулеметной очередью.

После этого их зажгли. Фашисты, наверно, ждали, что теперь танкисты выскочат. Готови-

лись, наверно, мучить их, обожженных, полуослепших. Танкисты пели: «Это есть наш последний и решительный бой...»

Хочу написать о Михаиле Чернобровине и его товарищах хорошо, а слова лезут под руку тусклые, невыразительные. Мешает, как всегда, проклятый газетный цейтнот. Вот если бы не в номер, если бы подумать, походить из угла в угол, как Саша. А Саша все вышагивает за моей спиной, все бормочет:

...Отчизна-мать!
Доступного смятенью
Сама убей в борьбе...

Пауза явно затянулась. Но сигнала отбоя еще не слышно. Тишина после грохота бомбежки кажется неестественной. Над замершим городом сияет луна. Удивительно полнолунная и яркая, черт бы ее побрал с ее колдовским светом! Каких только проклятий не сыплют ленинградцы на это светило влюбленных, как только не обзывают, сидя в своих подвалах! И наводчицей, и повсякому.

Кажется, у Саши начинается что-то получаться:

На улицах дрожат дома-громады,
И жарко облакам.
Свидетельствую в гуле канонады
Народам и векам...

Тишина все сгущается, становясь похожей на настоящую тишину. Мерно тикает метроном радиокомитета. Скоро должны дать отбой воздушной тревоги. Состоит он всего из одной музыкальной фразы, но вряд ли придумал бы такую даже сам Шостакович. Ти-ти-ти-ти-та-та! Ти-ти-ти-ти-та-та! Просто гениальная музыка, от которой сразу светлеют лица. Добрый миллион улыбок облегчения.

Тишина. И внезапно на всех нас обваливается страшный грохот. Вздрагивает



Бомба упала на Невском проспекте. Фото Николая Хандогина.

и мигает свет в лампочке. С треском лопается оконное стекло. От пола, откуда-то из недр земли, ударяет в ноги и ощущению поднимается до горла тяжелый толчок.

Упало рядом, совсем близко. Быть может, на соседний дом или дом напротив, где парикмахерская.

Стоим, тесно прижавшись друг к другу. Дыхание учащенное. А над головой опять металлический противный гул. Сверлит, сверлит. И опять заливаются наши штабные зенитки.

Как воды рек верны теченью,
Так мы верны тебе.

Это шепчет Саша — бледный, с закрытыми глазами, вцепившись пальцами в каменную кладку стенового выступа. Шепчет самозабвенно, неистово. Стихи сильнее страха.

Проходит еще минут пятнадцать, прежде чем слышим мы наконец долгожданный сигнал: «Ти-ти-ти-ти-та-та! Ти-ти-ти-ти-та-та! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!»

В секретариате редакции уже знают, куда упала бомба. Не рядом и не напротив — в угловой дом по улице Гоголя. Это метрах в ста от нас. Метили, конечно, в штабное здание.

— Полдома срезало, — рассказывает Секретарев, наш фотокорреспондент. — Как бритвой... На третьем этаже пианино висит. Сходи-те, ребята, это надо увидеть...

Втроем мы спускаемся на Невский. Весь он залит лунным светом,

безлюдный, пустой, какой-то сказочно голубоватый. Блестят, как серебряные жилки, трамвайные рельсы, а шпиль Адмиралтейства похож на оперную декорацию — слишком красиво, прямо до приторности.

У поворота на улицу Гоголя сгрудились пожарные машины. Еще висит в воздухе едкая кирпичная пыль, не успела развеяться. Пахнет гарью. Угол дома действительно срезан начисто. На уцелевших стенах видны обои. И пианино стоит на краю среза, чудом не свалившись вниз. Но больше всего запоминается настенная вешалка на четвертом этаже. На вешалке светлое мужское пальто и шляпа. Пальто чуть-чуть покачивается...

Мы возвращаемся в свою комнату, чтобы продолжить работу. Саша доканчивает стихотворение, я пишу про Михаила Чернобровина, умершего с пением «Интернационала». Франтишев готовит подборку из маленьких заметок героев Невского пятачка.

Ночью объявляют еще три тревоги... Одну из них, около полуночи, мы выстаиваем в дверной нише. Другую мы просто не слышим, заснув, словно убитые, на своих узких солдатских койках.

На следующий день в десятом часу утра из типографии привозят очередной номер газеты «На страже Родины». На первой полосе помещена моя статейка про танкистов, ее изрядно сократили. Рядом Сашино стихотворение:

Отчизна-мать!
Доступного смятенью
Сама убей в борьбе.
Как воды рек верны теченью,
Так мы верны тебе.

После войны
поэт Решетов
подписал
Сапарову
то самое
стихотворение,
свидетелем
создания
которого тот
стал.

ГЛОСА ХРАВРЫХ

На улицах дрожат дома-громады,
И жарко облакам.
Свидетельствую в гуле канонады
Народам и векам.

Как кровь, ярка в осеннем темном небе
Пожаров полоса;
Прекрасных зданий нет — лишь пыль и щебень,
Суровы голоса:

«Из милых окон вражьей орды видны.
Проклятые, назад!
Живой стеной у стен твоих гранитных
Мы встали, Ленинград!»

«Владеть тобой стремится враг кровавый.
Мы на его пути
Стеной стоим у стен, покрытых славой,
Пусть смерть на нас глядит».

«Отчизна-мать!
Доступного смятенью
Сама убей в борьбе.»